

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. (Евангелие от Иоанна).

Одно время в разного рода просветительских классах и учебных кабинетах неизменно висело тургеневское стихотворение в прозе: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мое поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!». Не будь тебя — как и власт в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был великому народу!»

Основное, конечно: озабочились, чтобы вне сомнений и помимо разумных логозитов колотило: «великий и свободный народ!»

Сейчас же и сомнений тьма. И от тягостных раздумий голова вспыхивает: Да вот ведь уже и не знаешь, где начинается — Родина. Прямо по горькому теркескому стиху:

Что там, где она, Россия, По какой рубль сквозь?

Так то война — 1942 год. А сейчас тогдешние и процитировавшие постещающие:

Не заревись, так професия, Будем живы — не покрем, Срок придет — наезд вернется,

Что отдашь — все вернем.

Онть-таки в том же 1942 году Анна Ахматова изрекла:

Не страшно под пытками мертвым лечь,

Не горько оставаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь.

Великое русское слово.

Иначе говоря, для нас лишиться слова многое горше, чем остаться даже без крова, погибельнее даже самой погибельной смерти.

Еще раньше, чем Ахматова, и, кажется, не слабее сказал о том же Осип Мандельштам в прозе: «Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории, то есть что Россия принадлежит к неорганизованному историческому кругу культурных явлений, упустил одно обстоятельство — именно язык. Столы высокородизанный, столы органический язык не только дверь в историю, но и сама история. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории... У нас нет архопола... Зато каждое слово словаря Даля есть орешек акрополя, маленький Кремль».

А вот сейчас тот, который один поддержка и опора, уже у многих сам поселяет сомнения и тягостные раздумья. Не раскальвается и не разлетаются ли орешки нашего акрополя, но взрываются у нас подобно драме Христы Спасителя весь великий Кремль нашего спасительного языка? И, восстановив один храм, не останемся ли на руинах другого?

Драму отлучения от языка демонстрирует и вся история возрождения-невозрождения уехавших. Говорят: не вернулся Бродский. Как не вернулся? Вернулся. Доподлинно. Он же написал стихи:

Ни земли, ни погоды
Не хочу выбирать.
На Васильевский Остров
Я приду умирать.

Может быть, реального возрождения он бы просто не выдержал. Впрочем, не выдергал.

Отлучение от языка страшнее, чем экономические провалы, финансовые проколы и оборонные прорехи. Для нас это равносильно отлучению от истории. Поймем это? А если нет, тогда все: крышка. И с притоном.

Впрочем, хватит патетики.

Драма нашего языка во многом связана с его тяжелейшей миссией — быть, по худи ли, хорошо ли утверждением термина, языком международного общения.

Конечно, связано это и с особой интернациональной миссией русского народа. Интернациональной не как внешнегосударственной или национальной, а как международной. Да, интернациональная особенность русского народа. Не потому ли он беззастенчиво многих перед цивилизованным «буржуазным космополитизмом» (речь не о произвольно внедренном мрачном понятии рубежа 40—50-х гг.) и так подавляет на «пролетарский интернационализм»? И даже сам русский национализм, когда он все-таки — в коне конов и тоже неизбежно — возникает, оказывается, пожалуй, бессильнее иных агрессивных, мощных, скошеточенных националистических потоков и гасится прежде всего в русском же интернационализме.

Русский интернационализм — кривой крест и тяжкие времена: он несет постоянную угрозу нашему национальному су-

ществованию, и он же есть не-пременное и, может быть, главное, если не единственное, уловимое нашего национального выживания: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мое поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!». Не будь тебя — как и власт в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был великому народу!

Он обрачивается и всемирностью пушкинского гения — главных наших, как полагал Достоевский, возвращением человечества, и дурачком наивных обезьяннических, будто галлюзии начала XIX века и вестернизации конца XX.

Да что там — галлюзии.

Когда поступаешь по Сибири, Иван Александрович Гончаров, рассказывая о русской семье, в которой говорили по-якутски, комментировал: «Ох, сильна у нас страсть к

иностранному: не по-французски, не по-английски, так хоть по-якутски пусть делят говорят».

В результате нечастный наш межнациональный язык был пущен на раздир и в распыл. Оказавшись на историческом пороге и под сенью, точнее, под семидесятю сенью, национальных ветров, он искажался, бедил и уродовался.

И одновременно он же, впитывая самые разнообразные стихии, собирая и богател, ловил, пристасывался, закалывался. Скажем, в первый трети прошлого века его омыла такая озвенчающая украинская волна, что дело закончилось именем Гоголя. А русско-киргизский (или наоборот) Айтматов ныне? А Кавказ? И сейчас, даже помимо поэзии, заслушавшись, как говорят по-русски кавказцы: «лица кавказской национальности» (да, вот уж выражение — образец духовного выражения и социального кретинизма). При этом здесь-то вряд ли можно говорить о национальной русификации. Всякий, посещавший союзные республики помнит изобилие на книжных прилавках так называемых национальных писателей, в том числе хороших и даже очень хороших, а русская хоровая книга там была в дешевке. Характерно, что часто, как менее скованные, те или иные республики — Прибалтика, Грузия — становились пионерами русских изданий, о которых в русских столицах еще не мечтали.

Сейчас, когда мы говорим о языке, мы подобно драме Христы Спасителя весь великий Кремль нашего спасительного языка? И, восстановив один храм, не останемся ли на руинах другого?

Драму отлучения от языка демонстрирует и вся история возрождения-невозрождения уехавших. Говорят: не вернулся Бродский. Как не вернулся?

Вернулся. Доподлинно. Он же написал стихи:

Ни земли, ни погоды
Не хочу выбирать.
На Васильевский Остров
Я приду умирать.

Может быть, реального возрождения он бы просто не выдержал. Впрочем, не выдергал.

Отлучение от языка страшнее, чем экономические провалы, финансовые проколы и оборонные прорехи. Для нас это равносильно отлучению от истории. Поймем это? А если нет, тогда все: крышка. И с притоном.

Впрочем, хватит патетики.

Драма нашего языка во многом связана с его тяжелейшей миссией — быть, по худи ли, хорошо ли утверждением термина, языком международного общения.

Конечно, связано это и с особой интернациональной миссией русского народа. Не потому ли он беззастенчиво многих перед цивилизованным «буржуазным космополитизмом» (речь не о произвольно внедренном мрачном понятии рубежа 40—50-х гг.) и так подавляет на «пролетарский интернационализм»? И даже сам русский национализм, когда он все-таки — в коне конов и тоже неизбежно — возникает, оказывается, пожалуй, бессильнее иных агрессивных, мощных, скошеточенных националистических потоков и гасится прежде всего в русском же интернационализме.

Русский интернационализм — кривой крест и тяжкие времена: он несет постоянную угрозу нашему национальному су-

ществованию, и он же есть не-пременное и, может быть, главное, если не единственное, уловимое нашего национального выживания: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мое поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!». Не будь тебя — как и власт в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был великому народу!

Он обрачивается и всемирностью пушкинского гения — главных наших, как полагал Достоевский, возвращением человечества, и дурачком наивных обезьяннических, будто галлюзии начала XIX века и вестернизации конца XX.

Да что там — галлюзии.

Когда поступаешь по Сибири, Иван Александрович Гончаров, рассказывая о русской семье, в которой говорили по-якутски, комментировал: «Ох, сильна у нас страсть к

иностранному: не по-французски, не по-английски, так хоть по-якутски пусть делят говорят».

В результате нечастный наш межнациональный язык был пущен на раздир и в распыл. Оказавшись на историческом пороге и под сенью, точнее, под семидесятю сенью, национальных ветров, он искажался, бедил и уродовался.

И одновременно он же, впитывая самые разнообразные стихии, собирая и богател, ловил, пристасывался, закалывался. Скажем, в первый трети прошлого века его омыла такая озвенчающая украинская волна, что дело закончилось именем Гоголя. А русско-киргизский (или наоборот) Айтматов ныне? А Кавказ? И сейчас, даже помимо поэзии, заслушавшись, как говорят по-русски кавказцы: «лица кавказской национальности» (да, вот уж выражение — образец духовного выражения и социального кретинизма). При этом здесь-то вряд ли можно говорить о национальной русификации. Всякий, посещавший союзные республики помнит изобилие на книжных прилавках так называемых национальных писателей, в том числе хороших и даже очень хороших, а русская хоровая книга там была в дешевке. Характерно, что часто, как менее скованные, те или иные республики — Прибалтика, Грузия — становились пионерами русских изданий, о которых в русских столицах еще не мечтали.

Сейчас, когда мы говорим о языке, мы подобно драме Христы Спасителя весь великий Кремль нашего спасительного языка? И, восстановив один храм, не останемся ли на руинах другого?

Драму отлучения от языка демонстрирует и вся история возрождения-невозрождения уехавших. Говорят: не вернулся Бродский. Как не вернулся?

Вернулся. Доподлинно. Он же написал стихи:

Ни земли, ни погоды
Не хочу выбирать.
На Васильевский Остров
Я приду умирать.

Может быть, реального возрождения он бы просто не выдержал. Впрочем, не выдергал.

Отлучение от языка страшнее, чем экономические провалы, финансовые проколы и оборонные прорехи. Для нас это равносильно отлучению от истории. Поймем это? А если нет, тогда все: крышка. И с притоном.

Впрочем, хватит патетики.

Драма нашего языка во многом связана с его тяжелейшей миссией — быть, по худи ли, хорошо ли утверждением термина, языком международного общения.

Конечно, связано это и с особой интернациональной миссией русского народа. Не потому ли он беззастенчиво многих перед цивилизованным «буржуазным космополитизмом» (речь не о произвольно внедренном мрачном понятии рубежа 40—50-х гг.) и так подавляет на «пролетарский интернационализм»? И даже сам русский национализм, когда он все-таки — в коне конов и тоже неизбежно — возникает, оказывается, пожалуй, бессильнее иных агрессивных, мощных, скошеточенных националистических потоков и гасится прежде всего в русском же интернационализме.

Русский интернационализм — кривой крест и тяжкие времена: он несет постоянную угрозу нашему национальному су-

ществованию, и он же есть не-пременное и, может быть, главное, если не единственное, уловимое нашего национального выживания: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мое поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!». Не будь тебя — как и власт в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был великому народу!

Он обрачивается и всемирностью пушкинского гения — главных наших, как полагал Достоевский, возвращением человечества, и дурачком наивных обезьяннических, будто галлюзии начала XIX века и вестернизации конца XX.

Да что там — галлюзии.

Когда поступаешь по Сибири, Иван Александрович Гончаров, рассказывая о русской семье, в которой говорили по-якутски, комментировал: «Ох, сильна у нас страсть к

иностранному: не по-французски, не по-английски, так хоть по-якутски пусть делят говорят».

В результате нечастный наш межнациональный язык был пущен на раздир и в распыл. Оказавшись на историческом пороге и под сенью, точнее, под семидесятю сенью, национальных ветров, он искажался, бедил и уродовался.

И одновременно он же, впитывая самые разнообразные стихии, собирая и богател, ловил, пристасывался, закалывался. Скажем, в первый трети прошлого века его омыла такая озвенчающая украинская волна, что дело закончилось именем Гоголя. А русско-киргизский (или наоборот) Айтматов ныне? А Кавказ? И сейчас, даже помимо поэзии, заслушавшись, как говорят по-русски кавказцы: «лица кавказской национальности» (да, вот уж выражение — образец духовного выражения и социального кретинизма). При этом здесь-то вряд ли можно говорить о национальной русификации. Всякий, посещавший союзные республики помнит изобилие на книжных прилавках так называемых национальных писателей, в том числе хороших и даже очень хороших, а русская хоровая книга там была в дешевке. Характерно, что часто, как менее скованные, те или иные республики — Прибалтика, Грузия — становились пионерами русских изданий, о которых в русских столицах еще не мечтали.

Сейчас, когда мы говорим о языке, мы подобно драме Христы Спасителя весь великий Кремль нашего спасительного языка? И, восстановив один храм, не останемся ли на руинах другого?

Драму отлучения от языка демонстрирует и вся история возрождения-невозрождения уехавших. Говорят: не вернулся Бродский. Как не вернулся?

Вернулся. Доподлинно. Он же написал стихи:

Ни земли, ни погоды
Не хочу выбирать.
На Васильевский Остров
Я приду умирать.

Может быть, реального возрождения он бы просто не выдержал. Впрочем, не выдергал.

Отлучение от языка страшнее, чем экономические провалы, финансовые проколы и оборонные прорехи. Для нас это равносильно отлучению от истории. Поймем это? А если нет, тогда все: крышка. И с притоном.

Впрочем, хватит патетики.

Драма нашего языка во многом связана с его тяжелейшей миссией — быть, по худи ли, хорошо ли утверждением термина, языком международного общения.

Конечно, связано это и с особой интернациональной миссией русского народа. Не потому ли он беззастенчиво многих перед цивилизованным «буржуазным космополитизмом» (